

ВДОХНОВЕННЫЕ

МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ

К Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу я забегал буквально на днях. На столе у композитора разложены бумажные «простыни» — типографские корректуры Четырнадцатой симфонии. Сам же Дмитрий Дмитриевич был приворожен телевизором, ибо трудно придумать силу, которая помешала бы спортивному болельщику смотреть хоккей.

Академические и прочие мантии, возлагавшиеся в переносном и прямом, буквально смысле на Шостаковича, — он почетный член и почетный доктор многих старейших академий и университетов мира, — как-то не сидят на его юношески подвижных плечах. Груз времен не властен над его душевной молодостью, озорным, динамическим оптимизмом молодости тридцатых годов. Скованная поза роденовского мыслителя ему не свойственна.

А ведь он не только гениальный поэт в музыке, но и глубокий мыслитель. Быть может, не было еще в истории музыкальной культуры творческой личности, чей композиторский талант такой мощи был бы сознательно помножен на самое передовое мировоззрение эпохи. «Сегодня мы с гордостью можем сказать, — говорил недавно Шостакович, — все лучшее, что было создано в советском искусстве за минувшие полвека, носит на себе печать бессмертных ленинских идей! Эти идеи всегда будут питать и обогащать наше творчество!» Именно идейной вооруженностью объясняется, что иные музыкальные вариации из его симфоний обладают мыслемкостью философского рассуждения.

Двенадцать проведенных знаменитой темы Ленинградской симфонии стали социальным и художественным исследованием трусливого и наглого нутра фашизма. В немудреном филлистерском мотивчике композитор видит хромосому, содержащую гены зла. С отвращением и яростью вы следите за логикой генетических превращений, за зловещими трансформациями музыкального материала, где улыбка становится жестокой гримасой, педантизм — всеокрушающей тупостью, бездуховность — пентробежным разбегом безумия, бесчинствующим хаосом...

Знаменитая его Восьмая симфония озадачила критиков. Проницательный Леонид Леонов писал: «Случая Восьмую симфонию, я все время чувствую, что властная рука композитора как бы подводит меня к иным окнам в мир, полный еще неизвестных мне явлений». Лишь теперь начинаешь понимать ее проводческие образы, видеть в ней окно в философские проблемы ядерного века. То была поэма о стойкости человеческого сердца перед гималаями зла...

Словно рыцарь без страха и упрека, Шостакович неустанно вызывает на бой зловещих великанов и, обмыв взглядом их гигантский подавляющий рост, сокрушает огненным мечом, свершая подвиг освобождения. Напряженными раздумьями о народных истоках революционных движений рождены такие творения композитора, как поэма о Степане Разине и симфония «1905 год». Двенадцатая симфония, словно озаренная отблесками титанической ленинской мысли перед самым началом Октября. В «Песне о лесах» — фаустовский пафос преобразования природы.

Где ты, башня слоновой кости. Диогенова бочка. Лавровая роза — одним словом, приют удивления, в котором, согласно

красивым легендам, вершится философская, поэтическая работа? Ни одна из сих благословенных обителей не подходит к темпераменту Шостаковича. Полагаю, что его была, в частности, обледелая крыша Ленинградской консерватории, где ночами напролет он держал противопожарную вахту. В те военные годы на обложках иностранных журналов появились необычные для изящного мира муз портреты: Шостакович в брезентовых доспехах, с топориком в руке и в сверчающем медью пожарном шлеме, придававшем ему облик античного воина. Для него тут не было ничего необычного. Здесь еще раз проявилась с рыцарской естественностью боевая реакция его натуры: он не мог не стать пожарным перед лицом огня. Слишком уж азартное дело — подцепить на самом краю крыши запылавшую бомбу и, зажав клешнями трещащий термитный факел, ловко сошвырнуть его на темную мостовую или сунуть в бочку с водой...

Полагаю, что стихия его существования — это бурное кру-



говращение житейских, общественных дел: многолетняя бесменная депутатская вахта, убежденнейшее страстное участие в комитетах и форумах, защищающих дело мира против тлеющих и горящих очагов войны. Нет такой достойной и праведной акции, где бы голос его не звучал авторитетно и сильно. Когда Дмитрий Дмитриевич был избран председателем Российского союза композиторов, а, признаваясь, забеспокоился, что безмерно возросший груз обязанностей оторвет его от творчества. «А вы знаете, — застенчиво ответил Шостакович, — я люблю общественную работу!» Мне потом не раз случалось наблюдать, с какой чистотой дирижерской страстностью, целеустремленностью и проворством композитор управлялся с лавиной организационных проблем. Ощущалось, что его увлекает партийность организационной работы, где сливаются в гармоническом единстве параллельные строки больших и малых дел. Он был дирижером и смиреннейшим участником ансамбля, потому что нельзя руководить коллективом, ему не подчиняясь.

А быть может, и вся сила в том, что Шостакович не оберегает себя от того, что иной самовлюбленный эстет окрестил бы суетою жизни. Так устроен сейсмограф, заглубленный в его душе, что поверхностная рябь бытия не затрагивает его чувствительных механизмов. Лишь какие-то главные подспудные сотрясения заставляют трепетать его чуткое перо. К ним, конечно, относилось и предчувствие нашего будущего. Это грозное предчувствие тревожило души целого поколения, мы сверяли с ним свою коллективную и личную жизнь. И когда нашествие состоялось, то народ отбросил его грудью, сокрушив врага... Пусть простят меня музыковеды, ибо им, как никому, известна субъективность образной трактовки симфоний, но мне кажется, что тема нашествия в отвлеченной сказочно-романтической форме поднималась уже в юношеской Первой симфонии, хотя есть тут и иные прочтения. Ее пафос в отражении и разгроме некоей разгулившей нагло силы, вознамерившейся околдовать мир...

В ходе творчества с беспримерной в истории музыки конкретностью уточнялся облик, социальный адрес зла: это омерзительные пошлости мешанства, духота купеческого лабаза, свист нагаек в морозном ветре, лик войны, геноцид, фашизм, смерть... Философский социалистический гуманизм отвергает очи Шостаковича. Он новаторски и дерзко порывает с вековой музыкальной романтической традицией украшения сил зла. Смерть в главнейших его произведениях лишена демонических краснот — это скрюченный, цепкий и опасный обезьяноподобный скелетик с каких-то средневековых гравюр. Зло опасно, но презренно-примитивно! Становление, развитие зла равносильно осуждению нравственной структуры, безвозвратному рассеянию-энтро-

поджил его в темноте отеля. Пианизм Шостаковича заслуживает специальных исследований. Его звукотворческая воля рождает строгие краски: так звел коненковский резец, срывающий мрамор. Надо ли писать, что его фортепианные концерты и Одиннадцатая симфония («1905 год») имели грандиозный успех. Я запомнил неоглядный зал, аплодировавший стоя, и на лицах многих — слезы! Все же было неожиданно видеть, что пеструю паринскую публику проняла до костей эта русская народная музыкальная драма, звуковые картины рокового народного шествия на Дворцовой площади морозного Петербурга. Мы не подозревали тогда, что утром на улицах Парижа назначена громадная демонстрация и что многие сидевшие в этом зале уже видят себя в ее рядах.

Великая свобода движения дается таланту истинному, и я радуюсь, когда нахожу свидетельства быстроты его творческих свершений. Датировка виртуознейших его «Двадцати четырех прелюдий» примерно соответствует ежедневному дневнику. Как-то он создался мне, что один из его квартетов был написан... за три дня! Что бы там ни говорили, но мне кажется, что Шостакович пишет быстро, атлетически играя глыбами музыкального материала. Но ко-го смущишь быстротой и динамизмом в век космоса, когда величайшие подвиги человечества образуют цель героических мгновений. Мыслители, анализировавшие механизм вдохновения от наивно-простодушного Смайльса до Станиславского и Павлова, показывают нам, какая предварительная подготовка, какая громадная вооруженность сознания, какое высокое воспитание ума и сердца неизбежно предшествуют творческим озарениям.

Шостакович известен в мире как великий реформатор почти всех музыкальных жанров — оперы, балета, жизне-радостной музыкальной комедии, концертов с оркестром, популярнейшей киномузыки, изысканной музыки камерных ансамблей, музыки фортепиано, скрипки, песенной и, конечно, прежде всего, симфонии. Всюду он творит свою драматургию, свой стиль, свой музыкальный язык. Поднебесные башни новаторства тогда прочны, когда опираются на мощный фундамент традиций. Я тут выписал, для интереса, из множества исследований аналитические параллели типа: «Шостакович и...». Шостакович и Глинка, и Бах, и Мусоргский, и Барток, и Чайковский, и Малер, и Дебюсси, и Маяковский, и Чарльз, и Лесков, и Шекспир... Не много ли? Впрочем, из сложного сплава истари отливались большие колокола на Руси!

Я всегда стараюсь попасть в число счастливых, что бывают на всех его премьерах. Сидишь, слушаешь, волнуешься, оттягиваешь финал... Сейчас все кончится, и Шостакович вынырнет из чащи оркестра со смущенным поклоном мастерового — вот, мол, что мы тут натворили!

А пока дорисовывается в оркестре грандиозная картина симфонического финала. Наррачиваются звучности, подключаются новые тембры, ширятся диапазоны... Все новые и новые типы горючего поступают в огонь симфонизма. Завершается космический старт, выводящий нас на высокую орбиту бытия. Нарастают эмоциональные перегрузки и вжимают нас в концертное кресло. Только б не дрогнуло лицо, только б не скатилась по щеке очистительная слеза катарсиса, которым разрешаются оптимистические трагедии. Дышится трудно, гордо и глубоко, будто бы атлант, подпиравший плечами небо, дал на время поддержать вам свою хрустальную ношу.

Владимир ОРЛОВ.

КЦИИ: 125867, ГСП, Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

ТЕЛЕФОНЫ:

Справочное бюро редакции — 251-73-86; Издательство — 253-11-03; Справки по письмам — 253-15-69.

ПРАВДА
г. Москва

14058 1973